Федор Николаи

# Ностальгия, советские вещи и антропология «стихийного материализма»

DOI: 10.53953/08696365_2022_174_2_338

**Post-Soviet Nostalgia: Confronting the Empires Legacies** / Ed. by O. Boele, B. Noordenbos, K. Robbe.
N.Y.; L.: Routledge, 2020. — 244 p.

**Golubev A. The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia.**
Ithaca; L.: Cornell University Press, 2020. — 220 p.

**Архипова А., Кирзюк А. Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР.**
М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 536 с. — (Культура повседневности).

Ностальгия сегодня широко распространена как в официальной политике памяти, так и в историческом сознании самых разных слоев российского общества. Исследователи отмечают, что сформировался своего рода ностальгический нарратив, который, подобно новогодним советским фильмам, через повторение воспроизводит позитивные (и вытесняет негативные) воспоминания о жизни в СССР[1]. Этот нарратив может выполнять разные функции в пространстве коммуникативной памяти, — использоваться как для легитимации сложившейся политической системы, так и для ее критики. Проблематизация ностальгии и более тонкий анализ причин ее распространения в современном обществе возможны через обращение к взаимосвязи разных видов памяти: коммуникативной, культурной, миметической (подражательной) и предметной (связанной с вещами)[2]. Но если отношениям культурной и коммуникативной памяти посвящено множество работ как в западной, так и в отечественной историографии, то память предметная лишь начинает привлекать внимание исследователей.

В этом контексте особенный интерес представляет «поворот к материальному» в социальных исследованиях — попытка рассмотреть объекты как часть сложных сетей отношений, написать «культурную биографию» советских вещей: «Вещи должны получить свободу от социального, они больше не являются пассивным эк-

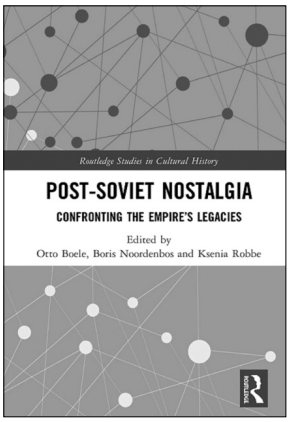
1 См., например: *Kalinina E.* Mediated Post-Soviet Nostalgia. Stockholm: Södertörns högskola, 2014; *Wijermars M.* Memory Politics in Contemporary Russia: Television, Cinema and the State. N.Y.: Routledge, 2019; *Липовецкий М., Михайлова Т.* Больше, чем ностальгия (поздний социализм в сериалах 2010-х годов) // Новое литературное обозрение. 2021. № 169. С. 127—147.

2 *Ассман Я.* Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 21.

раном, на который проецируются социальные смыслы, не служат подручными инструментами социальных фактов, не выступают видимым, но молчаливым свидетельством незримого социального порядка. Они должны анализироваться как условия возможности этого порядка»[3]. Исследования позднесоветской материальности включают в себя анализ сетей распределения дефицитных товаров, жилищного строительства и городского планирования, распространения новых игрушек, влияния технического опыта или армейского быта на стратегии субъективации граждан и т.д.[4] Сегодня эти сюжеты представляются вдвойне актуальными в связи с проблемами избыточного потребления и поиском жизнеспособных стратегий его ограничения или детоваризации. Да и для понимания функционирования советского общества в целом вопросы «низового материализма» и его сложных связей с официальной идеологией тоже принципиально важны.

## Постсоветская ностальгия: вещи и нарратив

Сборник статей «Постсоветская ностальгия» под редакцией Бориса Нурденбоса из Амстердамского университета и Отто Беле и Ксении Роббе из Лейденского университета проблематизирует генезис ностальгического нарратива. Книга делится на три части. Первая («Аффект») посвящена разнообразным повседневным практикам, прежде всего взаимодействию с артефактами и вещами из прошлого. *Мэнди Дуйн* изучает отклики посетителей сайта «СССР наша Родина», — одного из первых подобных проектов, важной частью которого стал интерактивный раздел о советских детских игрушках. *Кэтлин Парте* анализирует повседневные ностальгические разговоры крестьян и мир позднесоветской деревни, отраженный в прозе писателей-деревенщиков 1950—1980-х гг. Наиболее интересной в теоретическом плане представляется статья *Сергея Ушакина* о ностальгии «из вторых рук» (second-hand). На материале экспозиций казанского «Музея социалистического быта», минского музея городской истории «Назад в БССР», а также серии документальных работ московского фотографа Данилы Ткаченко автор убедительно доказывает первичность аффективного воздействия вещей по сравнению с нарративами (чаще всего внутренне противоречивыми). Особенно это касается молодежи, которая не имеет опыта жизни в СССР, меньше склонна к морализаторству и чаще подчеркивает собственное отличие от других поколений. «Музей не превращает вещи в “репрезентации”, — пишет Ушакин. — Он лишь предоставляет платформу для их действия. Не предполагая единого когерентного нарратива, вещи группируются




3 *Вахштайн В.* «Поворот к материальному»: тридцать лет спустя // Социология власти. 2015. № 1. С. 11.

4 См., например: *Иванова А.С.* Магазины «Березка». Парадоксы потребления в позднем СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2018; *Сальникова А.А.* История елочной игрушки, или как наряжали советскую елку. М.: Новое литературное обозрение, 2012; *Березина Е.* О природе вещей: исследования российской и советской материальной культуры (Рец. на кн.: Material Culture in Russia and the USSR: Things, Values, Identities. L.; N.Y., 2017) // Новое литературное обозрение. 2019. № 158. С. 351—356; *Шехтер Б.* Казенное имущество: война, люди и вещи // Неприкосновенный запас. 2021. № 3. С. 117—130.

по их функциям, не очень связанным с их содержанием или происхождением» (с. 44). В отзывах посетителей перечисленных выставок преобладают эмоции, которые чаще всего остаются не вполне отрефлексированными. Именно поэтому Ушакин пишет об аффекте, а не о какой-либо концепции прошлого в историческом сознании молодежи или российского общества в целом[5]. И если критики «реставрирующей» ностальгии вслед за Светланой Бойм делают вывод об исчезновении будущего в современной мемориальной культуре, то в данном случае бинарное противопоставление «плохой» и «хорошей» ностальгии оказывается во многом надуманным: музеи опираются не просто на материальные свидетельства прошлого, но и на связанный с ними жизненный опыт.

Во второй части («Апроприация») обсуждаются сюжеты, связанные с подчинением практик коммеморации господствующему политическому нарративу. *Эмили Джонсон* рассматривает трансформацию памяти о Чернобыле и ликвидаторах катастрофы: от недовольства отсутствием социальной поддержки в 1990-е гг. к свойственной 2000-м героизации побед советского человека над материальными трудностями. *Борис Нурденбос* анализирует проект Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР»: через монтаж, использование музыки и выстраивание сюжета режиссер драматизирует разрыв между настоящим и прошлым, не всегда считаясь с мнением своих собеседников. Самой яркой в этой части представляется статья *Ильи Кукулина* о «низовом сталинизме» 1970—1980-х гг. Автор сравнивает очень разные на первый взгляд культурные сюжеты: повести «Нашей юности полет» (1983) Александра Зиновьева и «У нас была великая эпоха» (1989) Эдуарда Лимонова; сценический образ фронтмена группы «Любэ» Николая Расторуева и фигуру Глеба Жеглова из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979—1980). Все эти столь разные сюжеты объединяет ностальгия по 1940—1950-м гг., когда сформировался культурный миф или нарратив, противопоставляющий социальный беспорядок и «сильную личность», — «того, кто может противостоять социальной аномии. Этот культ сильной личности набирал обороты все 1990-е гг. и в конечном счете стал ключевым компонентом идеологии, которую исповедует нынешняя политическая элита России» (с. 93). Такая ностальгия исключает признание гетерогенности прошлого и необходимость его многостороннего социокультурного анализа. Показательно, что появилась она еще до распада СССР в 1991 г. Ее основой был низовой ресентимент — недовольство значительной части населения ростом благосостояния партийной номенклатуры и (отчасти) московской и ленинградской интеллигенции. Ярким примером этого недовольства можно считать популярную в 1980-е субкультуру «люберов». Основанный на ресентименте ностальгический нарратив в 1990-е гг. стал все чаще использоваться критиками либеральных реформ, а в 2000-е окончательно закрепился в официальной исторической политике. Причиной его сохранения Кукулин считает «историческую травму» — забвение массовых репрессий, голода 1946—1947 гг. и материальных трудностей 1940—1950-х. Его можно назвать квазиидеологией — потому, что политические цели достигаются в рамках этого нарратива не напрямую, а через обсуждение исторических сюжетов средствами массовой культуры.

Третья часть книги — «Спор» («Contestation») — посвящена попытке согласовать два этих подхода. Хотя Кукулин и сторонники идеи господства ностальгического нарратива как коллективных рамок памяти признают его основой движение

5 Понятию аффекта в контексте «поворота к материальному» посвящен блок статей «Объекты аффекта: к материологии эмоций» в № 120 журнала «Новое литературное обозрение», открывающийся статьей С. Ушакина: *Ушакин С.* Динамизирующая вещь // Новое литературное обозрение. 2013. № 120. С. 29—34.

снизу, а Ушакин и сторонники теории практик не отрицают, что аффект часто используется сегодня «реставрирующей» ностальгией, напряжение между этими позициями носит принципиальный характер. И попытка согласовать их требует не просто «плотного антропологического описания» конкретных кейсов, а подробной теоретической аргументации. С этой задачей третья часть не вполне справляется. Собранные здесь сюжеты весьма любопытны: *Марина* и *Владимир Абашевы* рассматривают проект «культурной революции» — инициированной государством модернизации культурной сферы в Перми 2008—2012 гг.; *Ксения Роббе* анализирует романы Андрея Аствацатурова, а *Отто Беле* — весьма амбивалентную ностальгию по 1990-м в отзывах зрителей сериала «Челночницы» (2016). Но попытка согласовать эти кейсы через понятие «структуры ощущений» Реймонда Уильямса, как и тезис, что в каждом конкретном случае отношения нарративных рамок и материальных практик могут радикально меняться в зависимости от ситуации, не кажутся особенно убедительными.

Говоря о спорных моментах в рецензируемой книге, стоит отметить также, что оба представленных в ней подхода не позволяют отделить ностальгию от обычной консервативной политики и внятно определить точку перехода от «рефлексивной» ностальгии 1990-х гг. к «реставрирующей» ностальгии 2000-х. Снять часть этих вопросов позволяет заключительная статья *Кевина Платта*. Он возвращается к аффективным основаниям ностальгии — к массовому недовольству социальными проблемами в 1990-е гг. Кроме того, Платт подчеркивает множественность сюжетных проявлений и форм ностальгии, иногда кодированных в противоположных символических терминах: это и интерес к дореволюционной «России, которую мы потеряли» (Говорухин), и идеализация революционных идей современными левыми, и ностальгия по 1920-м гг. в эпоху перестройки, и ироническое обращение с прошлым соцарта и московского концептуализма 1970—1980-х гг., и т.д. Аффективная составляющая позволяет ослабить или даже снять смысловые противоречия между разными аспектами этих нарративов и перенести внимание на их общий культурный фон.

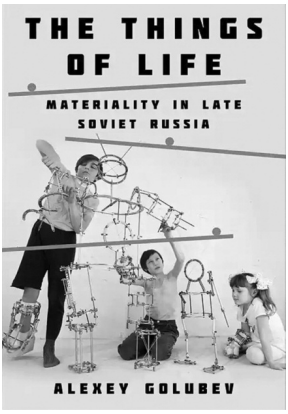
Позиция Платта возвращает читателя к более общим вопросам о популярности ностальгии не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире[6]. Недовольство современным неолиберализмом вызывает идеализацию прошлого, которой активно пользуются сторонники Трампа в США, Джонсона в Великобритании, Эрдогана в Турции и т.д. И постсоветская ностальгия представляется лишь одной из возможных форм такой культурной политики.

## «Жизненные вещи: материальность позднего социализма»

Книга Алексея Голубева из Хьюстонского университета интересна и яркими сюжетами, и концептуальным анализом взаимосвязи материального и дискурсивного мира позднего СССР. Уже во Введении автор подчеркивает, что «материальный поворот» в духе Бруно Латура и акторно-сетевая теория не вполне подходят для исследования позднесоветской проблематики: их необходимо дополнить, с одной стороны, дискурсивным анализом языка конструктивизма 1920-х гг., а с другой — антропологическим исследованием складывавшегося в СССР «стихийного мате-

6 Ср.: *Платт К.* Аффективная поэтика 1991 года: ностальгия и травма на Лубянской площади // Новое литературное обозрение. 2012. № 4. С. 199—215; *Gaston S., Hilhorst S.* Nostalgia as a Cultural and Political Force in Britain, France and Germany. L.: Demos, 2018.

риализма», — возникавших снизу трудовых, обменных и образовательных практик, а также специфического отношения к вещам.




На дискурсивном уровне взаимосвязь этих вещей и практик нашла выражение в восходящем к авангарду «продуктивистском языке советской культуры» (с. 20) с присущим ему техноутопизмом, востребованном как в выступлениях партийных лидеров, так и в текстах технической интеллигенции. Его распространению способствовали и научная фантастика, и многочисленные технические журналы, издававшиеся в 1970—1980-е гг. многомиллионными тиражами: «Техника — молодежи», «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Катера и яхты», «Радио», «Горизонты техники для детей», «За рулем» и др. Он характеризовал советское общество как прогрессивное именно в технологическом отношении и формировал образ идеального гражданина как квалифицированного работника или просвещенного инженера, стремящегося сделать мир лучше. Речь идет не просто о языке, а о практиках его использования для поддержания самых разных вернакулярных инициатив. В качестве яркого примера можно привести так называемую теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) Генриха Альтшуллера, совмещавшую в себе педагогику, инженерную мысль и увлечение фантастикой с ее социально-утопическим пафосом: «Для теоретиков ТРИЗ фантастика была важна, поскольку показывала широкой аудитории, что хорошие вещи могут создать хорошее общество, и наоборот» (с. 29). Этот проект включал в себя как овладение практическими навыками, так и конструирование образов техно-утопического будущего.

Вторая глава («Время в масштабе 1:72: пластмассовая историчность советских моделей») посвящена кружкам технического моделирования в СССР, в которых школьники учились стыковать друг с другом материальные формы, образы будущего и национального прошлого: «Аффективный характер самих моделей и их коллекционирования, их способность демонстрировать советские промышленные и технологические возможности, выступать в качестве синекдохи исторического прогресса были важны для создания и воспроизводства национального исторического воображения на низовом уровне» (с. 44). Модели и их детали становились частью нарратива, который соединял и располагал рядом корабли императорской и советской России. По мнению Голубева, уже здесь формировался троп ностальгии: «Окруженные коллекцией российских и советских самолетов, кораблей, грузовиков, моделисты создавали ностальгический нарратив, в котором объект ностальгии представлял собой советское видение исторического континуитета и прогресса, или, в терминологии Рейнхарда Козеллека, “прошедшего будущего”» (с. 59).

В главе «История в дереве: поиск аутентичности на Русском Севере» рассматриваются связанные с ностальгией локальные сюжеты: реставрация Кижи и создание одного из первых в СССР музеев деревянного зодчества, превращение петрозаводского яхт-клуба в клуб исторической реконструкции «Полярный Одиссей» и др. Все они оказываются неразрывно связаны с конструктивистским дискурсом не только в дисциплинарном плане (реставратор Кижи Александр Ополовников был учеником Моисея Гинзбурга) и на уровне риторики, но и в плане идеологии, поскольку предполагают отказ от культурной стилистики (капиталистического) XIX в. в пользу образов старого, докапиталистического Русского Севера. Дерево в этих проектах становилось не только распространенным в современной городской культуре символом «возвращения к корням»; не менее важна была его «под-

ручность», доступность для обработки в рамках трудовых и повседневных практик, привычных для многочисленного сельского (преобладавшего вплоть до 1961 г.) и городского населения СССР.

Однако помимо связанных с продуктивистским дискурсом повседневных практик автор рассматривает и те формы «низового материализма», которые были маргинализованы в советской культуре, вытеснены на ее обочину. Вторая половина книги посвящена кейсам, которые не вписываются в современную ностальгию и свидетельствуют о существовавших в СССР социальных проблемах.

Показательна в этом плане глава «Стальной человек: восстановление и усиление советских тел», где рассматриваются судьбы бодибилдинга в СССР. Амбивалентное отношение к нему четко зафиксировала полемика о «люберах» в прессе 1987 г. «Огонек» и «Собеседник» были склонны к моральной панике — ее вызывали даже не столько сами «качки» и их подвальная субкультура, сколько массовое недовольство курсом реформ и признание серьезных социально-культурных конфликтов в СССР, формально провозглашавшего принцип всеобщего равенства. «Неделя» и «Техника — молодежи» скорее одобрительно отзывались о патриотической молодежи, занимавшейся «подготовкой тела и духа к армии» (с. 113). Как справедливо подчеркивает Голубев, изначально это движение было привязано не к символам и лозунгам, а к вещам и собственному телу, и лишь со временем телесные практики приобрели символическое значение, артикулированное на общепринятом языке. При этом уже в 1950—1960-е гг. достаточно распространенным стало обращение к конструктивистскому языку 1920-х, когда создание нового советского человека и его тела описывалось как машина. В поэме Алексея Гастева «Мы растем из железа» (1923) сталь и железо являются субстанцией, преобразующей органическое традиционалистское прошлое в новое будущее. После Второй мировой войны этот язык оказался востребован не только в советском спорте, но и в медицине — в деятельности известнейшего хирурга Гавриила Илизарова, компрессионно-дистракционный аппарат которого произвел революцию в ортопедии, и у знаменитого циркового атлета Валентина Дикуля, разработавшего собственную систему восстановления после тяжелой травмы с помощью пауэрлифтинга. Железо здесь было ключом для активации скрытых резервов человеческого тела. Илизаров, Дикуль, энтузиасты культуризма вроде Георгия Тэнно столкнулись с ограничениями системы и долгое время не признавались официальными институциями ни в медицине, ни в спорте. Эта маргинализация и вытеснила бодибилдинг в подвалы — на периферию советского коммунального пространства. Использование культуристами и «люберами» авторитетного советского языка «подготовки к армии», «мужественности и патриотизма» было вызвано стремлением выйти из подвалов и добиться общественного признания.

Другим пространством, в котором прошла молодость значительной части позднесоветских подростков, были подъезды «хрущевок» и «брежневок». Множество исследований как в России, так и на Западе посвящено феномену социалистического города, дворцам культуры и домам-коммунам, которые должны были воспитывать идеального советского гражданина. Однако на периферии этого пространства (охватывавшей не менее масштабные территории) оказывались зоны, производящие иные формы субъективности. Вопросы подростковой сексуальности и многообразия гендерных отношений были вытеснены за рамки официальной советской культуры, в результате чего подъезд и был основным местом для обсуждения этих вопросов молодежью. В 1980-е гг. проблемы социализации подростков широко обсуждались в кино, где они вызывали скорее антропологический интерес («Курьер» (1986) Карена Шахназарова, документальный фильм Татьяны Васильевой «Подъезд» (1990) и др.). Однако в официальных медицинских и педагогичес-

ких журналах возобладал дискурс морализации, рассматривающий подростковую сексуальность как опасную патологию. В условиях такой маргинализации со стороны официального языка практики выработки гендерной идентичности у подростков все чаще оказывались связаны с токсичной маскулинностью и хулиганством. Эта связь, по мнению Голубева, имела аффективный характер, поскольку так и не была отрефлексирована ни самими подростками, ни их родителями, ни школой: «Советские подъезды, дворы и улицы вызывали разный аффективный отклик у разных социальных групп. Для интеллигенции такие негативные аффекты, как отвращение и страх, были вызваны неспособностью этих пространств действовать функционально и обеспечивать беспрепятственный проход внутри советского города. Лестничные площадки и темные подворотни привлекали самые разные группы людей» (с. 91—92).

Наконец, последняя глава («Обыденное и паранормальное: советская телесеть») посвящена всплеску интереса к паранормальным явлениям, к телесеансам Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, которые в 1989 г., по данным соцопросов, регулярно смотрели 57% населения СССР, или около 200 миллионов человек. Объясняя этот феномен, Голубев делает акцент на самом телевидении, которое изменило домашнее пространство и сформировало новые аффективные связи. Понятие аффекта автор использует здесь для обозначения бессознательного характера воздействия медиа на нескольких уровнях. Во-первых, экстрасенс представляется сильной (экстраординарной) личностью, воплощением эмоций аудитории, надежд на выздоровление и нормализацию. Во-вторых, эти сеансы (как и другие популярные телепередачи) собирали перед экраном всех членов семьи, синхронизировали их интересы, делали зримой взаимную поддержку. В-третьих, миллионы поклонников и тысячи писем в редакцию усиливали «эффект плацебо», соединяющий пространство воображаемого и тела зрителей. Подчеркнем, что эти формы воздействия выходят за рамки языка и не регистрируются сознанием аудитории.

Во всех главах книги Голубева вещи и пространства — модели самолетов и аппараты Илизарова, самодельные штанги и банки с «заряженной» водой, реконструкции древних лодок и исторические здания в музее деревянного зодчества, подъезды и подвалы советских домов — оказываются связаны с зазором между официальным языком и повседневными материальными практиками. Понятие аффекта, активно используемое автором, подчеркивает процессуальный характер этих взаимосвязей, невозможность рассмотрения вещей в их статическом состоянии. Однако механизмы работы аффекта не детализируются, а скорее требуют додумывания со стороны читателя.

## Советские вещи как опасные знаки

В книге Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР» вещи занимают подчиненное положение — рассматриваются в качестве знаков, структурных элементов городских легенд. В первой (теоретической) главе авторы обозначают основные подходы к анализу городского фольклора: интерпретативный, операциональный и меметический. Во многом эти подходы коррелируют с эволюцией роли городских легенд в советском обществе: поначалу они использовались и властью, и рядовыми гражданами, и разного рода экспертами (от партийных работников до следователей НКВД), для того чтобы интерпретировать в своих интересах происходящие в стране события, прежде всего борьбу с «внутренними врагами» в эпоху Большого террора. При этом идеологический смысл «вчитывался» в любые тексты и изображения: дизайн

пуговицы «футбольный мяч» превращался в знак свастики, этикетка спичечного коробка или зажим для пионерских галстуков — в «бородку Троцкого», обложка школьной тетради с картинами Васнецова или Крамского — в средство антисоветской пропаганды. Так, первый секретарь Куйбышевского обкома Павел Постышев в письме Сталину и Ежову в ноябре 1937 г. описывал эти обложки следующим образом: «На первом образце, где воспроизведена репродукция с картины художника Васнецова, на сабле Олега кверху вниз расположены первые четыре буквы слова “долой”, пятая буква “И” расположена на конце плаща направо от сабли. На ногах Олега помещены буквы ВКП — на правой ноге “В” и “П”, на левой “К”. В общем, получается контрреволюционный лозунг — “Долой ВКП”. На второй обложке, где воспроизведена репродукция картины Крамского, — в левом углу рисунка лежат трупы в красноармейских шлемах. Затем если повернуть этот рисунок вверх текстом, а вниз заголовком, то в правом углу можно обнаружить подпись, похожую на факсимиле Каменева» (с. 80). Рядовым же гражданам подобная гиперсемиотизация позволяла придать смысл террору, жертвами которого часто становились совершенно случайные люди, — отвести опасность от себя и своих близких, которые не могут оказаться «внутренними врагами».

В позднем СССР идеологическая гиперсемиотизация потеряла смысл. Слухи и городские легенды распространялись скорее по внутренней операциональной логике или меметически, — апеллируя к эмоциям слушателей. Их объектами выступали чаще всего бытовые вещи: зараженные сифилисом стаканчики из автомата с газировкой, колбаса с крысиными лапками, отравленные конфеты или пропитанные иностранным ядом джинсы. Функцией городских легенд было размежевание своих и чужих, достойного и аморального, нормального и неприемлемого. «Жизнь становится менее опасной, менее голодной и менее подверженной идеологии. У людей появляется больше возможностей для частной жизни. Их перестают всерьез волновать опасности, грозящие советским символам, а легенды о домах, построенных в виде тех или иных знаков, рассказываются уже в качестве курьезных и никого не пугают. <…> Если сталинская советская легенда чему-то и учит, то необходимости охранять от вторжения внешнего врага советское символическое пространство (“нет чужим знакам в наших значках”). У легенды позднесоветской — другое сообщение: не соблазняться иностранными вещами и не впадать в грех двойной лояльности» (с. 471—472). Вещи при этом по-прежнему остаются маркерами социально-психологических или культурных оппозиций, проявлением моральных паник, за которыми могут стоять компенсация ощущения бессилия социальных низов, попытки экспертов укрепить свое влияние, стремление власти сохранить максимально возможный контроль за обществом.

Несомненным достоинством книги Архиповой и Кирзюк является то, что они не стремятся свести все многообразие богатого и яркого материала к одному из перечисленных концептуальных подходов. Особенно в последних главах советские вещи и повседневные тактики их использования оказываются все более индивидуализированы и все меньше укладываются в конвенциональные нарративы. Они все чаще предполагают различные варианты интерпретации, что возвращает нас к проблеме взаимодействия слов и вещей в позднесоветской культуре.

В этом контексте продуктивной представляется идея Сергея Ушакина, высказанная им в статье — прологе к сборнику «Веселые человечки», посвященному со-

ветским игрушкам и мультипликационным героям. Большинство персонажей популярных мультфильмов действительно имеет лиминальный характер: эти образы не столько работают в пространстве лакановского символического, сколько указывают на прорехи, нестыковки и разрывы в официальном языке описания действительности. Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Ежик из «Ежика в тумане» и Чебурашка, Кот Леопольд и Карлсон учат детей и подростков использовать воображаемое. Обращаясь к наследию известного психоаналитика Дональда Винникота, Ушакин доказывает, что игрушки и вещи играли ключевую роль в социализации «последнего советского поколения». «Развивая идеи Лакана, Винникотт показывал на примере своих пациентов, что вещь или явление — комок ниток или угол одеяла, слово, напев или жест — становятся “жизненно важными для ребенка”, превращаясь в неотъемлемый атрибут, например, ритуала засыпания или в средство защиты в ситуации тревоги и беспокойства. Эти вещи — “переходные объекты” в терминологии Винникотта — выполняют функцию объективного (материального) “якоря” субъективных фантазий»[7]. Вещи, игрушки и образы становятся не столько устойчивыми символическими знаками, сколько важной частью переосмысления существующей символической системы в пространстве воображаемого.

Таким образом, все три рассмотренные книги посвящены проблеме соотношения слов (нарративов) и вещей. У Архиповой и Кирзюк материальные объекты подчинены городским легендам. В работе Голубева вещи и телесные практики скорее используют язык и конвенциональные нарративы для своей легитимации. Авторы «Постсоветской ностальгии» вслед за Ушакиным и Кукулиным пытаются согласовать напряжение, возникающее между этими подходами. Такое напряжение представляется весьма продуктивным: оно может выступать действенной «прививкой» от все более навязчивой современной ностальгии. Топография советского материализма — планового и стихийного, публичного и приватного — позволяет понять противоречия, в результате которых вещи выходят из подчинения и могут использоваться для трансформации существующей символической системы. В этом смысле «поворот к материальному» не следует рассматривать как явление историографического прошлого, существующее лишь в академических статьях и учебниках; его наследие важно для актуального поиска новых смыслов и практик взаимодействия с окружающим миром.

---

7 *Ушакин С.* «Мы в Город Изумрудный идем дорогой трудной»: маленькие радости веселых человечков // Веселые человечки: культурные герои советского детства / Под ред. И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 34.